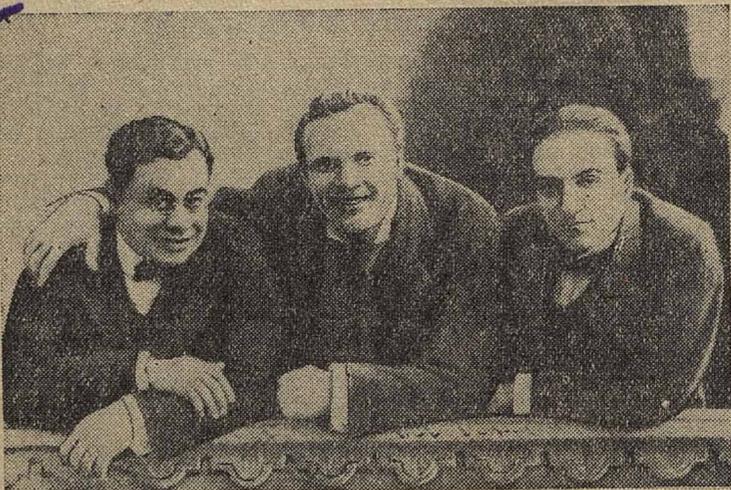


Шалапин в Самаре

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)



Снимок публикуется впервые.

Передо мной потускневшая от времени фотография, снятая в Самаре почти полвека назад. На ней — великий русский певец Федор Иванович Шалапин и еще двое. Трудно восстановить в памяти эти два лица, но я имею основание думать, что первый — профессор Авьерино (альтист), а второй — пианист и композитор Кенеман. Оба они спутники Шалапина в его единственном выступлении в Самаре осенью 1909 года, участники концерта, на котором имел счастье быть и я.

Впервые я услышал Шалапина за два года до этого в трех оперных спектаклях: «Русалка», «Мефистофель» Бойто и «Борис Годунов». Это было в Петербурге, в летнем театре «Олимпия». Всепокоряющий талант Шалапина заставлял забывать деревянный сараеобразный театр, шаблонную постановку с потрепанными декорациями, посредственный ансамбль. И безумный Мельник, и

всевластный, презирающий род людской Мефистофель, и царь Борис, мучимый угрызениями совести, не нашедший пути к народу, — все три образа были совершенством русского оперного искусства.

По окончании «Бориса Годунова», мы, группа «галерочников», пробилась к барьеру оркестра и увидели Шалапина близко. Он стоял на авансцене неподвижный, изнеможенный. Он непрерывно что-то говорил, вернее шептал. В буре аплодисментов и восторженных криков, конечно, нельзя было услышать слов, но по однообразному движению его посеребривших губ мы поняли, что он повторяет одно и то же слово: «Спасибо!».

Но там он имел в своем распоряжении грим, костюмы, действенное начало оперного спектакля. А на эстраде, лишенный всего этого, останется ли он таким же потрясенным, огромным художником? Об этом думали многие, и я в том числе, покупая

билеты на концерт. Концерт состоялся в театре-цирке «Олимп» (ныне здание филармонии).

Идя на концерт мимо «Гранд-отеля», где остановился Шалапин, я увидел довольно большую группу любопытных, поджидавших его. Шалапин вышел из гостиницы в наглухо застегнутом пальто и, помнится, без шляпы. Лицо его было бледно, озабочено, почти сурово, губы сжаты. Он молча, не глядя ни на кого, как будто не слыша свою фамилию, произносимую кругом громким шепотом, сел на поджидавшую его прелетку и уехал. Вслед ему неслись крики: «Шалапин! Урал!».

Концерт принес части публики некоторое разочарование. Во-первых, программа концерта носила чисто камерный характер. Шалапин пел только романсы и песни — ни одной оперной арии, несмотря на настойчивые крики: «Мефистофеля!..» «Мельника!..». Во-вторых, многие из тех, кто слушал его в первый раз, приготовились услышать «трубный глас». Вот выйдет знаменитый певец, и от звука его голоса затрясутся стены и зазвенят стекла. Ведь это Шалапин! Первый бас в мире! Таких поклонников протодьяконских звучаний, главным образом из богатого купечества, постигло, действительно, нечто вроде разочарования.

Неотразимая сила Шалапина, помимо его гениальной музыкальности и могучего темперамента, была в неповторимом тембре, особенно в среднем регистре. Это был звук редкой мягкости для баса, звук незвонкой, но удивительно красивой и какой-то особой русской задушевности. Долгое время все записи голоса Шалапина (граммпластинки и тонфильмы) были неудачны. Лишь в последние десять лет его жизни появились записи, хотя бы с известной приближенностью передающие глубину и обаяние его пения. Их часто можно слышать по радио. Наиболее близкими из них к живому доущему Шалапину мне кажутся последняя ария Бориса из оперы Мусоргского и «Старый капрал» Даргомыжского... Но вернемся к концерту.

Шалапин пел вдохновенно и прерасно. Можно прибавить к этим эпитетам еще: темпераментно, искусно, необычайно тонко, и все это будет верно. Однако попытка дать исчерпывающую характеристику его пения — это попытка простым карандашом передать буйные и контрастные краски тропического пейзажа.

Лаконично, удачнее, пожалуй, всех сказал о пении Шалапина С. Рахмаинов: «Шалапин поет так, как Лев Толстой пишет».

Все было спето в этот вечер великолепно. Но хочется остановиться на том, что даже почти через полвека, по сей день, живо и незабываемо. Прежде всего — это спетые в первом отделении «Пророк» Римского-Корсакова (на слова Пушкина), «Менестрель» Аренского (на слова Майкова) и «Три дороги» Кенемана.

Первая половина «Пророка» была спета с какой-то особой внутренней сосредоточенностью. Певец как бы вспоминал давно минувшие сокровенные видения и мысли. Он был еще, казалось, таким, каким я видел его на улице перед концертом. Затем в его голосе появились суровые и резкие интонации:

...И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык...
И лишь с первой строкой заключительной фразы «Восстань, пророк! И виждь и внемли!» — глаза его широко раскрылись, голос зазвенел, и животорная, горячая волна его колдовского голоса заполнила зрительный зал.

В балладе Аренского о менестреле, полюбившем принцессу и за это казненном королем, поразительно было богатство и разнообразие интонаций, с которыми пелась одна и та же, много раз повторяющаяся фраза: «Молчите, проклятые струны!».

Особо должен быть отмечен шумный успех «Трех дорог». Написанный на слова М. Конопицкой этот романс был в те годы бесспорно революционно звучавшим произведением. В нем пелось, что у народа

От убогих хат три пути лежат,
Три пути на долю и недолу.
На одном пути целый век идти

За союхою по чужому полю.
На другом пути к кабаку идти,
Где народ свой разум пропивает.
Третий путь ведет, где кладбище ждет,

Где народ от горя отдыхает.

Когда Шалапин с присущими ему силой и подъемом спел трижды повторяемую финальную фразу:

Кто же укажет путь широкий
К правде и свободе?! —

бурная овация (многие в зрительном зале встали с мест) была признательной наградой и певцу и сидящему за роялем автору романса Ф. Кенеману.

Любопытная деталь. Почти все Шалапин пел с нотами в руках. При его гениальной памяти вряд ли они были нужны ему как ноты. Вернее всего, протянутые руки давали ему нужную опору для голоса. Кроме того, ноты помогали жестикуляции. С последней фразой «Трех дорог» он сделал шаг к краю сцены и вытянул до предела вперед руки с нотами, как бы желая слиться воедино с зрительным залом.

Во втором отделении исключительно проникновенно был спет коротенький романс Шумана «Во сне я горько плакал». Когда Шалапин пел припев: «Проснулся, а слезы все льются, и я не могу их унять», — у нас, слушателей, на глазах были слезы. Слезы застилали глаза и при исполнении романса скандинавского композитора Альфеса «Последний рейс» — песни о простом моряке, не вернувшемся из рейса.

Было спето и несколько русских народных песен. Одну из них я услышал в тот вечер впервые. Это популярная, часто передаваемая теперь по радио песня «Помню, я еще молодущий была». И странно: я слышал потом бесчисленное число раз эту, бесспорно, по содержанию женскую песню, но никогда после Шалапина, даже в исполнении наших замечательных певиц Н. Обуховой и М. Макаковой, так осязаемо и непосредственно не ощутил той женственности, того робкого и чистого чувства русской крестьянки к человеку,

который дважды мимолетно встретился на ее жизненном пути.

Мы подошли еще к одному ценнейшему качеству Шалапина — образности его искусства. Что бы он ни исполнял, мы совершенно ясно и ошутимо видели то, о чем он пел: и убитого менестреля с разбитой лютней, и тугоголового короля, приказывающего шить бархатный кафтан блохе, и Степана Разина, бросающего в Волгу персидскую княжну, и крестьянку, глядящую вслед уходящему с армией барину-офицеру.

Исключительным образцом такого концертного перевоплощения явился в тот вечер «Семинарист» Мусоргского. Перед нами стоял высокий и статный Шалапин в шикарном модном фраке, белом галстуке, лаковых ботинках. Но вот он запел «Семинариста», и все эти эстрадные атрибуты исчезли. И перед нами был уже не Шалапин — нет, не он, а наивный, недалекий паренек, семинарист, бурсак, зубрящий ненавистную латынь и в то же время полный любовной мечтой о поповой дочке Стеше, на которую он намедни в церкви «левым глазом все поглядывал... да подмаргивал»...

Много еще пел Шалапин, но, как говорится, всего не перескажешь, всего не вспомнишь...

Задержавшись из-за концерта на пару дней в Самаре, я, молодой студент, назавтра уехал в Казань. Пароход уходил вечером. До поздней ночи сидел я на палубе. Мимо проплывали ночные берега, светилась под луной Волга. Я весь был полон вчерашним восторгом. Передо мной еще стоял Шалапин, начинавший концерт «Пророком» и этим как бы образно излагавший свое художественное кредо. Перефразируя стихи Пушкина, можно сказать, что он и вправду был тем, кто своим искусством мог

Грудь рассеет мечом,
И сердце трепетное вынуть.
И угли, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинуть...

Г. ШЕБУЕВ.
Заслуженный артист РСФСР.